

ЮРИЙ ШИНКАРЕНКО

Жужжите всем о васильках!

«КАРТИНКИ» С ПОДРОСТКАМИ



Юрий Шинкаренко

Жужжите всем о васильках!
«Картинки» с подростками

«Издательские решения»

Шинкаренко Ю.

Жужжите всем о васильках! «Картинки» с подростками /
Ю. Шинкаренко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-909099-7

В новой книге Юрий Шинкаренко продолжает тему предыдущего сборника «На дне сыроежки ломаются» (Издательские решения, 2017): подростки, их прощание с детством, их трудное движение во взрослую жизнь.

Непосредственное участие во многих историях, связанных с подростками, душевные, а иногда даже интимные интонации — всё это выдает ориентиры автора на лучшие образцы «тинейджерской» литературы, на книги Дж.

Сэлинджера, К. Трумэна, Р. Брэбери, Н. Помяловского, А. Макаренко, Ю. Щекочихина и других.

ISBN 978-5-44-909099-7

© Шинкаренко Ю.
© Издательские решения

Содержание

1. «СЕКРЕТИК» ВЕЛОСИПЕДА (советское детство)	6
«Секретик» велосипеда	6
С Днём пионерии!	8
Счётная палочка	9
Ненстоящая учительница	10
Запах	13
Сосны из 1975-го	14
Все сосчитаны	17
Книги как птицы	20
Карта	21
«Я верю в графологию»	23
На чуды не надейся!	27
Зелёные варежки	28
2. КАМЕНЬ ХРАБРОСТИ (повседневная жизнь подростков XXI века)	30
Страх	30
Без проверочной работы	33
Добро должно быть с битами?	34
Весна красна, с погонами	35
Звук потише!	36
«О, великий маг!...»	37
Назвал бы фильм по-другому	38
О гламуре	39
Ночёвки	40
Поколение	41
К вопросу о восприятии мира	42
Корявый лёд	43
Магнит на холодильник	44
Бриллиантовая рука	45
Гулливер	46
Жирафы	47
Разрушение красоты	48
Исихастские наушники	49
Мяч в «мавзолее»	50
Ааа-антоо-он??	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Жужжите всем о васильках! «Картинки» с подростками

Юрий Шинкаренко

© Юрий Шинкаренко, 2018

ISBN 978-5-4490-9099-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1. «СЕКРЕТИК» ВЕЛОСИПЕДА (советское детство)

«Секретик» велосипеда

У меня сломался велосипед. Не сломался – рассыпался.

Три лета он, невзирая на асфальтово-городское предназначение, таскал меня по бездорожью малой родины, по степи, по разрушенным склонам Уральских гор. Он подарил мне счастье общения с природой, вернул потерянный было тонус, освежил детские воспоминания, когда вот так же: бездорожье, степь, ветер, настоящий на чабреце и полыни, в лицо...

Теперь мы с ним простились. А чтобы остатки лета не превратились в квартирные посиделки, я отправился в городскую скупку металла – присмотреть себе новую раму, советскую, чтобы китайского металла там и духу не было.

В скупке меня отвели в отдельное помещение, заставленное скелетами бывшей велотехники. Я порылся в груде металлолома и почти сразу выбрал старую облупленную, но надёжную по виду раму. Велосипед когда-то был темно-зелёным. Потом бывший хозяин перекрасил его голубой краской.

На велосипеде сохранилась эмблема Пермского велосипедного завода. В 1970—1979 годах под этой эмблемой изготавливались известные любому советскому подростку «Уралы» и «Камы».

Я привёл велосипед домой, чувствуя в руках тяжесть советского металла. Бронетехника! Теперь ни одна гора не страшна. За вилки можно не беспокоиться. Не обломаются! И за руль тоже можно не волноваться.

Я сунул палец в трубку руля. И вдруг почувствовал: там что-то есть. Осторожно, действуя отверткой, вытащил из руля «секретик» – свёрнутую в трубку записку.

Клочок бумаги из школьной тетрадки в линейку был слегка помят, на нём отпечатались пятна ржавчины. Но это не помешало прочитать текст, прилетевший ко мне из 70-х.

То была молитва-оберег.

«Матушка, Мать Пресвятая Богородица трехручица, стоишь ты у престола, молишься за весь мир православный и помолитесь Бога за меня, раба Дмитрия. Помогите, защитите, Царь небесный, накройте Неизносимой <пеленой> от всех врагов и супостатов. Отныне и довеку. Аминь».

Мгновенно возникла в воображении картинка из советского быта. Купили «рабу Дмитрию» новенький «Урал». И пока счастливый Димка лязгает ключами, расслабляя и затягивая гаечные соединения, пока радостно вдыхает запах темно-зелёной краски, его мать (судя по уверенному почерку, записку писал взрослый человек) склонилась над кухонным столом. Она старательно выводит на листке бумаги обережные слова.

Молитва от лица Димки адресована высоким необоримым силам, которые, когда понадобится, и от аварии спасут... И встречный грузовик с пьяным водителем отведут в сторону! И хулиганов, тормознувших Димку в тёмном переулке, разгонят! Текст оберега женщина с тревожным характером списывает из потрёпанной тетрадки. Там есть «молитвы» на все случаи жизни (такие тетрадки были во многих семьях, особенно – сельских). Мать торопится (сын ненадолго отлучился и вот-вот вернётся!). В словах оберега, во фразе «Неизносимая пелена» она пропускает слово «пелена», но от этого магический текст становится лишь таинственной и торжественней.

Потом, когда Димкин голос уже слышен за воротами двора, мать крестьянской рукой быстро снимает с руля резиновую ручку. Вставляет в трубку свой «оберег». Возвращает ручку обратно. И... записка начинает свою невидимую магическую службу.

Велосипедист Димка, как сложилась твоя судьба? Защитил ли тебя бумажный оберег от дорожно-походных напастей? Отвёл ли беды, подстерегающие в пути? Может, кто-нибудь узнает свой велосипед детства и ответит на этот вопрос, призванный раскрыть новые яркие детали советского быта, мальчишества под знаком велосипедной эмблемы с «Серебряным копытцем»?

Вчера в первый раз выехал на «новом» велосипеде в степь. Он весело летел по просёлочной дороге и был надёжен, как старый друг детства. Как бы не улыбаться по поводу оберегов, но старому велосипеду в самый последний момент спасена жизнь. Списанный в утиль, определённый под безжалостный металлический пресс, он вдруг неисповедимым зигзагом судьбы выскользнул из своей мрачной и безнадежной тюрьмы – и вот снова колесит по яркому праздничному лету.

*Оренбургская область,
2017, 4 августа*

С Днём пионерии!

Первым делом пионерский галстук нужно было намочить в холодной воде, а он, шёлковый, не очень охотно впитывал влагу. И нужно было сильно сжать его, словно эспандер, и в таком виде сунуть под струю воды. А потом потихонечку расслаблять кулак.

После, как бы ни спешил в школу, лучше было дождаться, чтобы утюг нагрелся как следует. Едва тёплый, он так «свезёт» поверхность шёлка, что складки потом до вечера не разгладишь. И последний секрет – начинать гладить нужно с кончика галстука, чтобы если вдруг оплавится, то не весь сразу. Но, впрочем, если влажность тряпицы и температура утюга рассчитаны правильно (а за три долгих пионерских года мы научились это делать) – то вся ежеутренняя процедура занимает всего полминуты. Р-раз! – шипя и паруя, утюг скользнул по мокрому шёлку. И разглажена алая полоса с каплями чернил, черники из похода, солидола от велосипедной втулки и невесть ещё чего. Два! – и ещё одна разглаженная полоска прибавлена. Три! – и разглажен весь шёлковый клин. Он от чересчур минерализованной воды будто накрахмален. Он горяч. И когда небрежно и привычно завязываешь его на себе – галстук слегка жжёт шею и покалывает её новыми «накрахмаленными» складками.

С Днём пионерии! Как бы то ни было – это наше детство!

2006, 19 мая

Счётная палочка

На просёлочной дороге в Копалухе валяется счётная палочка. Пластмассовая, розовая. И – лёгкая рябь памяти, её исчезающие эфиры, о моих счётных палочках.

Нужно было вырезать их из вербы. Десять по десять. Каждый десяток требовалось обмотать резинкой.

А запах пластмассы, нежный палевый цвет палочек – это уже чуть позже, от школьных принадлежностей сестры Нины.

Или у нас тоже были пластмассовые – а на вербные перешли, когда дошли до сотни и когда пластмассовые в магазине уже закончились?

2000, 23 июня

Ненстоящая учительница

Однажды мы стали изучать в школе немецкий язык.

«Однажды» – точнее не скажешь. Ибо для нас, сельских пятиклассников, это событие случилось неожиданно, не с начала учебного года, как тому положено.

«Распределённая» инязовская выпускница в деревню ехать не захотела. Преподавание немецкого отменили.

Пришла зима. Задули метели, возводя из сугробов беспорядочные линии обороны. Разворошенные скотниками копны соломы всюду пылили мякиной, и на снег легли полосы – уж не контрольно-следовые ли? Надежда на знакомство с языком братьев Grimm, Щелкунчика и гитлеровских солдат, с которыми воевал мой дед, полностью растаяла. Какой же учитель поедет в школу, полускрытую сугробами в соломенной трухе?

С другом Сергеем мы попытались заняться самообразованием. Взяли новехонькие учебники «Deutsch», раскрыли на первой странице, знакомящей с немецким алфавитом. В строчку, как первоклассники, начали выписывать начальную букву: «А».

Пыл охладил Серёжкин отец. Он – суровой школьного директора! – заглянул в тетрадь и спросил:

– Почему неаккуратно? Опять – лишь бы с уроками разделаться? Почему буква «А» такая кривая?

Сергей опрометчиво захохотал:

– Ничего ты не понимаешь! Неграмотный! Это же не русская «А»! Не-мец-ка-я!

За что тут же схлопотал подзатыльник. Конечно, не за сходство германской готики с кириллицей! За неуместный смех и непочтение.

Дальше первой буквы наше самообразование не подвинулось. Учебник был построен так, что без наставников не обойтись.

И вот однажды... Долгожданным «однажды» директор привёл в наш класс Нину. Она была старше нас всего на четыре года. Окончив восьмилетку, стала работать в библиотеке. А теперь...

– Теперь, – сказал директор, гипнотизируя нас из-под очков, – Нина Александровна будет учить вас немецкому языку. А назовете Нинкой – считайте, что лично меня Вовкой обозвали. Понятно?

И стала Нина Александровна знакомить нас с языком братьев Grimm, Щелкунчика и гитлеровских солдат, с которыми воевал дед.

Её методика преподавания была незатейлива, как мякинные узоры на скатах сугробов. Предупредив, что немецкой орфографии она не помнит, Нина Александровна предложила:

– Будем учить слова. А записывать их – русскими буквами. Приедет настоящая учительница, – научит вас писать, как в ГДР пишут. А пока хоть слова позапоминаем. Что время зря транжирить?

Мы подписали трехкопеечные тетради – «Словарь немецкого языка» – и, ловя на слух незнакомые слова, стали выводить их родной кириллицей. А рядом той же кириллицей помещали перевод.

Перевод слов, скорее – толкование их было у Нины Александровны весьма примечательным.

– Die Mutter, – медленно произносила Нина, ждала, пока мы выведем это слово, а потом, не задумываясь, поясняла: – Это по-нашему «мамка». Дальше... Der Schtul. По-русски будет «стулка» или «табуретка».

Большинство её переводов звучало потрясающе «по-нашему»: на деревенском диалекте, с крестьянскими, устоявшимися за века «неправильностями», но зато с такой родной живостью, в такой тёплой узнаваемости.

– Das Feld, – звучал каждую неделю в нашем классе голос ненастоящей учительницы. – Как это поточней? Выгон, вот!

И записывая «дасфэльд» в словарь, мы представляли клочок непаханой земли, зернисто-белый от цвета кашек.

– In Ordnung bringen, – диктовала Нина Александровна. – Наводить марафет. Dann – опосля. Das Haus – хата. Die Wohnung – тоже хата. Legen – ложить...

Некоторые слова Нина Александровна не достаивала сочности собственного перевода. И звучали они по-казённому нейтрально. Это относилось ко всяким там «революциям», «знамёнам», «предприятиям», «арбайтерам» и «колхозбауернам». Хотя и в такой лексике иногда попадались образчики, которые Нина Александровна обласкивала своим отношением.

– Kampfен, – например, говорила она. – Бурюкаться.

Слово нас восхищало. Надо же – немцы, оказывается, от нас ничем не отличаются. Тоже могут побарахтаться в снегу, помутузить друг друга, залезть на омёт и там, рискуя сверзиться вниз, затеять возню. Борьбу.

Прошли годы. Недолгое учительство Нины Александровны совсем забылось. Да и какая память может остаться от ненастоящего педагога, от курьёз-педагога-«толмача»?

Но у детей дырявых душ не бывает. Не выпадает из памяти, из сердца ничего, что заложено туда по детству!

Как-то в лингафонном кабинете университета, работая с передовицей из «Neues Deutschland», я ошарашено замер. В официальном отчёте немецких коммунистов значилось: «Мы бурюкаемся за мир!».

Сработала память детства. Выплеснула из глубин сознания давние зимние уроки немецкого. Я представил далёкий Берлин, засыпанный соломенной мякиной, заснеженные копны на Унтер-ден-Линден-штрассе, а на макушках этих копёшек – весёлую возню товарища Хоннекера и его партайгеноссе. Немецкие коммунисты «бурюкаются».

Революционная борьба, борьба за какие-то идеи для них теперь была навсегда заказана. По крайней мере, в моём сознании.

А потом начались совсем странные, милые вещи. Стоило слышать любую немецкую речь, и я узнавал в ней знакомые интонации. Нет, это была не тональность послевоенных фильмов, где гортанные немецкие команды бросали нас в невероятный, чуть ли не генетический озноб, а потом в ярость. Нет, теперь в любой немецкой фразе – принадлежала ли она девушке с «эфдэйотлеровским» значком или седому бизнесмену – мне слышался голос Нины Александровны. И ухо ловило родные слова: мамка, хата, навести марафет...

Языковой этот морок был так силён, что все немцы казались мне выходцами из нашей деревни. Односельчанами. Хотелось подойти и спросить, помнят ли они выгон в шершаво-белом пузырении цветка-кашки? А соломенную мякину, ту самую, которая покрывает нехитрой мозаикой рождественские сугробы – неужели не помнят? А нашу школу с ненастоящей учительницей?..

Впрочем, теперь, даже мысленно, называть Нину Александровну «ненастоящей» я не решался. Учительницей она была, как оказалось, самой настоящей.

За несколько коротких уроков, сама того, может, не осознавая, она превратила язык гитлеровских солдат в язык соседей по планете, ни в коей мере не отняв его у братьев Grimm и Щелкунчика. Она разрушила глубинное, хранимое родовой памятью недоверие между народами, рождённое последними войнами. Она, неказистая девочка-выпускница, приблизила к моему сердцу огромную чужеродную культуру, сделала восприятие этой культуры по-домашнему тёплым.

Как жаль, что Нина Александровна преподавала только немецкий. Вот бы вернуться в детство, хваткое на впечатления, и получить под её руководством хотя бы пару уроков польского, грузинского, греческого языка, выучить несколько слов на идиш, на китайском, французском, эвенкийском, марийском...

Всего лишь несколько слов: мамка, хата, выгон, навести марафет...

А больше и не надо! Этого достаточно, чтобы с любым жителем земли можно было бы вспомнить общее прошлое, представить, как золотистая соломенная пыль плавно гасит серебристые блёстки сугробов, и договориться о наведении марафета на нашей не гигантской вовсе планете.

Запах

Прогретый солнцем автобус. И вдруг запах – как от раскалённого фильмоскопа.

Сосны из 1975-го

Когда в шесть утра мама растапливала печку, живое пламя пробивалось сквозь мокрый уголь, лизало чёрные отгиски доисторических листьев на угольных плитках.

Огонь всё сильнее бился за чугунной дверцей, вскоре его силы хватало, чтобы даже через вентиляционные соты в чугунной печной дверце освещать избу.

Отблески огня проникали в застуженную переднюю, пытались лизать морозные узоры на окне, такие же чёткие, как на угольных сколах, только серебристо-голубые.

Потом пламя охватывало своим вниманием новогоднюю ёлку. Его отсветы облизывали каждую игрушку, каждую мишуринку, колыхались на «Ночке», крупном сиреневом шаре с серебристыми звёздами по всей сфере, ерошили стеклянные гребни-иглы чуть выцветшим от времени всевозможным петушкам и рыбкам. Воздух в избе отогревался, хвойный аромат, расширяя завоёванное праздником пространство, выталкивал к порогу холодный вязкий запах мокрого угля.

Сколько утренних предновогодних канунов помню, все они примерно так вот начинались. И лишь однажды праздник чуть не сорвался.

Накануне мать и отец, как всегда в последних числах декабря, собрались в Карагай. Это село недалеко от нашего Шубино, в удивительно красивом распадке Губерлинских гор. Горы эти скорее нужно называть разломами в земной коре. Они не возвышаются над степным Саринским плато, а упрятаны заподлицо со степной равниной. Едешь, едешь однообразным заснеженным полем, где глазу не за что зацепиться, и вдруг – спуск! И скалы, и сосны-невелички, покрывшие своими гривами сланцевые выходы.

Этот реликтовый бор сохранился чудом, поскольку такие же хвойные языки, протянутые природой с северо-запада, облизывали когда-то и наше Шубино, и соседние хутора. Да вот всё было изведено при Александре Втором, при бурном переселенческом сдвиге российского народа на эти земли крайнего Оренбуржья. Только в царствование Александра Третьего спохватились, начали лесозащитную и лесовосстановительную работу. Может, благодаря именно этому осторожному, консервативному «василевсу» и сохранился Карагайский бор.

И вот мои родители ехали теперь туда, чтобы утянуть из заповедной чащи маленькую, отбившуюся от колючей стаи сосёнку. Ехали они на лошади, на санях. Под овчинным тулупом, раскинутом сверху сена, лежала бутылка с зелёной наклейкой. Для отца и матери этим походом начинался свой праздник, свой ритуал.

В последнее время жили они не очень дружно, ссорились. И вместе их держала, как мне иногда казалось, лишь вот эта новогодняя поездка.

Если б не было нужды каждый год ездить за сосёночкой, чтобы порадовать нас, они бы разбежались. Но мы, маленькие, ждали ёлку каждый год, и родители терпеливо прощали друг другу обоюдные выходки, чтобы не оставить нас без ёлки (точнее, без сосновой замены). Каждый год, выбираясь ночью в Карагай, они долго сидели под заснеженными сосновыми лапами, согреваясь недорогой водкой, закусывая домашним хлебом и рулетным салом, выговаривали друг другу обиды, всё, что накопилось за год.

Потом отец срубал самую пушистую сосёнку. И родители возвращались. И я сквозь сон слышал, как резкий «плачущий» запах сосны врывается в избу.

Так было каждый год – всё мое детство.

И лишь на исходе детской поры произошло что-то непоправимое.

Родители поехали в Карагай, а вернулись без «ёлки».

Оказалось, что лес сторожит с десяток пацанов. На рукавах – бледно-зелёные повязки «Зелёного патруля». Мальчишки, обутые в не очень высокие, по тогдашней моде, валенки,

шли поодаль за санями, как стая решительных волчат, и самый отважный повторял издали неустоявшимся басом: «А мы не дадим!.. Не дадим! Не срубите!».

Так и не срубили отец с матерью сосёнку. Не воевать же с мальчишками. Вернулись без зелёного трофея.

Я помню то ошеломление, когда проснулся в предвкушении заведённого праздничного повтора, а он не состоялся.

Отменялось всё: холодный запах хвои, лужи у порога от истаявшего снега, бушующее пламя печки, крестовина для дерева, которую отец доставал с «подложки», вынутые из старого посыльного ящика новогодние игрушки... И этот миг – когда в предутренней горнице сияет в отблесках печного пламени молодая сосна!

Я ждал этого ритуала – а он не свершился.

Мама, едва скрывая восхищение, рассказывала о храбрых настойчивых мальчишках, которые «так и не дали срубить!»... Отец чего-то хмурился. И всё вокруг, несмотря на внешнее спокойствие, было покрыто налётом недоговорённости и непоправимого.

Я повторяю эту оценку «непоправимое» не потому, что в ту ночь остались без сосёнки (пусть растут подольше!). А потому что сломался ритуал. И где-то в собственном подсознании, силами каких-то проснувшихся от спячки собственных же желёзок, концентрировалось понимание, готовое вот-вот выплеснуться наружу...

Это взросление!

Это неминуемое отбытие от детских счастливых земель и портов в штормовой океан взрослой жизни. Или, уточняя метафору по тогдашним обстоятельствам, в клокочущую из-за буранов неведомую и смертельно опасную степь – бескрайнюю степь взросления.

«Ёлка» в нашу избу всё же пришла. Но уже другая, не привычная, не такая, как раньше. Отец устанавливал в шубинском клубе ёлку для всех. И договорился с директором школы Владимиром Григорьевичем, что после новогодних вечеров заберёт её себе.

Когда общие праздники прошли, он притащил деревцо из клуба в наш дом. Сосёночек было даже две – их скрепляли вместе, чтобы скрыть проплешины.

Клубная «ёлка» ещё держала на себе отблески хороводных энергий и, казалось, таит в себе всю подноготную о шубинских «зайчиках» и «белочках», о деде Морозе Коле Митусове и снегурочке Кате Болговой (или кто вёл тогда деревенский вечер?), о других заводилах клубной встречи.

Эта «ёлка» недолго простояла у нас. Мы поторопились выставить её на улицу. Воткнули в сугроб, наметённый с восточной стороны дома. В каком-то детском журнале была инструкция про новогодние игрушки для морозной улицы. Мы, следуя им, залили детские песочные формочки подкрашенной водой, утопив в них петличку, чтобы замерзшую игрушку можно было подвешивать на ветки.

Ледяные игрушки, голубые и розовые, получились не очень прозрачными: в воде из колодца оказалось много кислорода, и лёд вспенился. Но всё равно – такие игрушки смотрелись на нашей дворовой гостье более органично – как сосульки на живых деревьях Карагайского бора.

Потом очередной буран сорвал и унёс в безлюдные степные дали, к неведомым горизонтам, и эти украшения. А сосенки, запорошённые вьюгой, оказались в центре нового развлечения.

Мне подарили фотоаппарат. И я использовал сосенки как интерьер для импровизированной уличной фотостудии. Под них поставили пенёк. И я снимал всех желающих – младших сестёр, юных соседей Акмайкиных, своего друга и брата Сергея. Потом передавал «Смену» – и кто-то фотографировал меня.

Сергей сбегал за ружьём, чтобы разнообразить съёмочные сюжеты.

Он мастерски изображал взрослого охотника. И смеялся. А что не смеяться? Откуда ему было знать, что ровно через двадцать лет, в такую же околноновогоднюю ночь, он, офицер милиции, остановит на обочине местного охотника и заведёт с ним разговор. А в это время из бескрайней снежной степи вырвется одинокая машина и будет приближаться по шоссе к двум ночным собеседникам. Водитель этой шальной смертоносной машины уснёт за рулём...

Но эта трагедия будет ещё не скоро. А пока, в ту новогоднюю пору 1975 года, сломавшего все прежние ритуалы, нам весело. Непоправимый ход времени вызывает лишь любопытство и служит таким оригинальным фоном для моих первых ученических фотографий.

Мне, в утешение за отмену детского праздника, кто-то невидимый подсовывает (руками родителей) фотоаппарат, будто подсказывает, что ход времени можно слегка попридержать, если найти способы творческого отражения друзей, приятелей, степных неоглядных далей, своего настроения и вот этой слегка ободранной уже шубинской праздничной «ёлочки» образца 1975 года.

Все сосчитаны

Мне выпало родиться в селе. Там, в отличие от города, явственно ещё присутствовали в быту, не засорились лавой цивилизации семейно-родовые каналы жизненного научения.

Нет, жили мы, конечно, не по соседству с Агафьей Лыковой. Поближе к «магнитам» цивилизации. Околицу села разрезал тракт, связывающий Сару, узловую железнодорожную станцию, с Башкирией. Чёрно-белый «Рекорд» вполне сносно ловил Москву. Если «Сельской жизни», «Пионерской правды» и местного «Нового пути» не оказывалось в почтовом ящике – то виновата в этом была всего лишь недобросовестная почтальонша. Или буран, отрезавший дорогу и порвавший электролинии. Знаменитый оренбургский буран, почти не изменившийся с тех пор, как его описал Александр Сергеевич Пушкин (только серой, может, стал припахивать, если врывался со стороны Медногорского медно-серного комбината).

Вот в бураны-то чаще всего и давало знать о себе прошлое. Замолкала вместе с оборванным электрическим проводом одна культура, современная, – поднимала голову вторая, почти ушедшая.

Вечером, перед сном, досыта наслушавшись тревожных стуков черёмухи в переплёт рамы, нагледевшись на отмашки её веток за окном, наполовину засыпанным снегом, мы начинали изводиться от тоски. И мать вдруг предлагала нам:

– Давайте кого-нибудь считать!

– Валек! – с ходу принимала уже знакомую игру моя младшая сестрёнка. – Давайте всех Валек пересчитаем. У кого больше – тот и победил. У меня уже пять!

Кто сказал, что в темноте ничего не видно? Ещё как я вижу свою сестрёнку! Поджала от усердия губы. Приподнялась на подушке на локтях. Развернула голову от окна в сторону улицы. Улица взбирается в горку, одна крыша выше другой. И маленькая Нина сейчас будет все выше и выше вздергивать подбородок, чтобы мысленно попасть в каждый дом, проверить, не живёт ли там кто с именем «Валентина». А если обнаружит кого – загнёт палец. Когда она обойдёт таким образом всё Шубино – загнутых пальцев у неё будет восемь. Проверено!

– Восемь! – говорит Нина и откидывается на подушку. Устала! Ещё бы – всё село успела «обежать». – Первая – тётя Валя Гузикова.

– Так, Ва-леч-ка, – засчитывает нашу соседку мама. Она интонирует каждый звук в этом имени, и отец тяжело сопит. Похоже, матери опять доложили, что папка возле кузницы встретил соседку и долго с ней разговаривал. Странно, почему мать так злится? Почему отцу нельзя вдоволь поговорить с хорошим человеком? По мне бы – пусть хоть сутки напролёт разговаривают.

Но мама ещё раз повторяет:

– Ва-леч-ка! – и как отрезает: нельзя женатому мужчине останавливать возле кузницы замужнюю женщину и разговаривать там с ней с глазу на глаз.

– Кого ты ещё сосчитала? – обращается она к Нинке.

– Тыкву! – говорит моя сестра, и все мы смеёмся, хотя Вальку Агрипенко сосчитали, конечно, все, и именно как «Тыкву».

Про Тыкву и её Валерку мне давно хочется всё обдумать. Ни в одном доме больше муж и жена не называют друг дружку по прозвищам. Только там.

Он её – Тыквой. («Так если растолстела, если и во двор не вкатишь – кто же она?! Тыква тыквой!»). Она – своего Валерку называет Утюгом.

Валерка худенький, маленький, но работает на ДТэшке с ковшом. Улицу после буранов от снега расчищает. Неповоротливый трактор в его руках действительно превращается в юркий утюг, который скользит по наглаженным простыням шубинского снега.

Хорошо это или плохо, что они так? Ведь все над ними смеются! Это плохо – если над тобой всегда смеются. Но смеются-то очень по-доброму и не за спиной. Я бы – «за», если бы и надо мной так смеялись. Может, тоже себе псевдоним придумать, пока кто-нибудь не опередит и не даст мне глупое и злое прозвище?

Решаю, что закончится наша игра – и начну придумывать себе весёлое имя.

А Нина продолжает:

– Валька Шувалова, – и хихикает. Нинка знает, что сегодня вместе с другом Сергеем мы ходили «на тот край». Магазины там нет. И почта не там. И делать там нам нечего, да ещё в буран, когда даже школу отменили. Но мы попёрлись. Ведь там живут Шуваловы...

Мои щёки горят, я показываю Нинке кулак – да разве увидит? Лишь окошко слабо мерцает в глубине комнаты. Ветка черёмухи то чаще, то реже даёт кому-то отмашку: «Марш! Марш! Вперёд!». И порывы снежных вихрей отталкиваются от нашего палисадника и мчатся дальше. Вдруг один из них обежит село, постучится в окошко к Шуваловым и прошепчет от меня: «Спи, Валечка, спокойной ночи!»?

Мама поправляет мою сестрёнку:

– Не «Валька», а «Валя», – и всё. Разговор исчерпан. Я лишний раз убеждаюсь, что всё-таки это норма – брести в буран на край света, торчать под чужими окнами, надеясь, а вдруг выглянет на миг девочка с русыми, под карэ волосами. Не было бы это нормой – будьте уверены, проехали бы по моему адресу! Повод-то есть – имя названо.

Мы двигаемся дальше. Кончается запас Валентин, которых вспомнила Нина. Подключаюсь я.

Мои знания побольше. Я называю близких и дальних родственниц, которые живут в нашем районе и даже в других областях. Одних я знаю лично, с другими знаком понаслышке. Одних, как принято, называю уважительно по имени-отчеству, мельком, почти на подсознании «ревизуя» их человеческие качества, от которых этим людям – почёт и уважение в нашем роду. Других, поддаваясь общему настрою, обозначаю вслух с иронией.

Уважение или ирония, или другое какое-то отношение выказывается не только в имени. Но и в том, как определяется степень родства.

Здесь отношения к конкретным людям, к их образу жизни, к их ценностям, передаются ещё тоньше. Незримые родственные связи становятся почти видимыми. По одним по-прежнему струится связывающая нас жизненная сила, другие – отмирают. Если задуматься – можно понять, почему. Как виртуозно и тонко это обозначение родства демонстрирует наше отношение к конкретным родственникам. Есть у нас бабушка, есть баба Нина, есть бабалька... Бабушка, баба – она в соседнем доме, она всегда рядом, она вечна, как солнце. Без неё ничто не обходится. Баба Нина – далеко, в Саракташском районе. Есть и есть... Бабалька – тоже далеко. Это мать тёти Кати, Серёжкина бабушка. Тётя Катя зовет её бабалькой, думая, что и нам передастся вся теплота и нежность чувств. Но нам почему-то передаётся только насмешливое отношение. Может, потому что мы хорошо помним рассказы Сергея про свою бабушку. Бабалька переехала в Новотроицк, к своей младшей дочери. И с трудом привыкает к городскому быту, рождая анекдот за анекдотом. Серёжка, например, рассказывал, как она однажды поджарила копчёную рыбу. В этом вся бабалька!

Кто-то есть и будет дядькой, а кто-то дядей... У нас десятки зятьев... Но только один Зять из соседнего села... По другому его почти не называют... Приезжает он – и начинает неизбывный допрос: почему мы не хотим родниться с его семьей, не ездим в гости, не пишем писем? Любая встреча с ним заканчивается скандалом! Потому он и Зять... Зять без имени.

Пустенькая вроде игра «Сосчитаем всех с одним именем» – это не только коротание времени. Это простая, но удивительно ёмкая возможность обойти с дозором свой собственный род, поглядеть, кого прибыло, кого убыло, определиться с оценками человеческих поступков –

не надвинулась ли пора смягчить какие-то оценки, ужесточить... Это малая часть старых технологий социализации, древних, как мир.

А комментарии? А разного рода отвлечения, со смехом и слезами? Мы играем, и я отчётливо понимаю, что вот так же коротали вечера родители моих родителей, мои прадеды и прапрадеды. И ещё дальше, в глубь веков – было так же. Старшие передавали своё понимание жизни младшим. Это был один из сонма способов консервации норм и правил, чтобы крупницы опыта не разнесены были буранами жизни.

Игра подходит к концу. Перечислила всех известных ей Валек мама. И про некоторых Валек слушать интересней, чем про сказочных Алёнушек. Заканчивает перебор отец. И комната оглашается вдруг победным воплем маленькой Нины:

– А я ещё одну Валю вспомнила! Никто из вас не вспомнил, а я вспомнила! Валентина Мауль!

Валентина Мауль – диктор местного телевидения. Каждый вечер она читает с экрана чёрно-белого «Рекорда» какую-нибудь новую сказку для малышей. И «сказочный» диктор – хорошая точка на маленьком детском воспоминании. Потому что она – из области других технологий социализации. Она там – где нашим взрослением занимается само государство.

2000, октябрь

Книги как птицы

Книги как птицы: умеют летать. Я понял это в детстве.

Как-то вышел из библиотеки. Под мышкой – кипа книжек: «Хижина дяди Тома», сборник стихов «Урал синекрылый», ещё что-то.

И тут дунул ветер, ураганный, пахнувший мартом ветер. Такой обычно предвещает перемену погоды и даже – наступление весны.

Я попытался увернуться от урагана. Поднял воротник пальто.

Но одна из книг выскользнула из-под моей руки. Упала на снег. Ветер заиграл её страницами. Погнал книгу по снежному насту. И, разогнав как следует, поднял в воздух.

Книга задвигала обложками, поднимаясь всё выше и выше.

Так она и улетела, книга из сельской библиотеки.

Я даже не очень огорчился. Потому что уже знал: книги, особенно – старинные книги, умеют летать. Иначе откуда бы они столько всего знали? Иначе как бы они могли подталкивать своих читателей к полётам, к парению, к желанию быть выше и выше?

Когда-нибудь моя книга, унесённая мартовским ветром, наверняка прилетит и к вам. Погладьте её по кры.. по обложке. Не поленитесь выслушать всё, что она расскажет вам про небо, звёзды и мир под звёздами.

И не держите, если она опять соберётся в путь. Отпустите – пусть летит дальше.

Книги как птицы – не могут без полёта.

Карта

Когда-то в детстве я пытался начертить карту Шубино, своего родного села. Склеивал вырванные из тетради двойные листы: заготовка была длинной и узкой, поскольку само Шубино вытянулось вдоль безымянного ручья с вербами.

Потом рисовал свой дом и дом Серёжки. Это был центр карты.

Чтобы уточнить расположение и порядок других домов, я взбирался на крышу (это был любимый наблюдательный пункт и мой, и моих сестрёнок – Марины и Нины).

Рисовал дорогу.

А вдоль неё – колодцы, потом – избы, от архипенковской избы до дома Хумайры Ильясовой, моей одноклассницы. Выводил на бумаге проулки и маленькие улочки, параллельные главной: на одной стояли дома Болговых, Ивженковых, дяди Егора Шинкаренко. На другой – жильё Кадиковых, Блябликовых, Штифоновых...

Синим закрасивал пруды – их у нас было целых три! Да ещё один искусственный – у водокачки.

С особым старанием выводил дороги, уводящие из Шубино в соседние лески, обишевские или ишановские, к реке Губерле, к озёрам – Светлому, Длинному, к Синему роднику.

Эти дороги всегда оживляли во мне чувство тревоги: а ну как уйдешь по одной из них – и уже не найдёшь пути обратно, к тёплым огонькам шубинских окон, светящихся сквозь ночное горькое осеннее покачивание черёмух в палисадниках.

Однажды так и случилось: ушёл – и не вернулся. И Шубино осталось лишь в памяти: даже детских карт-крок не сохранилось.

Позже, уже в зрелые годы, я мечтал найти подробную карту села (есть же они в каких-нибудь военных штабах!). Потом, когда в жизнь ворвался Интернет, истерзал поисковики своими запросами: «карта Шубино». Но в ГУГЛе космический снимок моей родины был смутным и некачественным: родные просторы задёрнули себя пеленой непогоды.

И вот в этом году ГУГЛ, наконец, выставил новые снимки: отличного качества! И я с нежностью сохранил их на своём компьютере.

Правда, карта эта теперь уже далеко не полная: от многих шубинских домов остались лишь фундаменты. В том числе, и от наших – от моего и Серёжиного.

Но зато карта с документальной дотошностью предаёт все извивы нашей безымянной речушки, на которой в конце XIX века высадились воронежские и полтавские переселенцы. Карта отмечает всё богатство чернозёмных жирных полей-вкраплений в скальную основу рельефа, ради которых ехали сюда через всю Россию крестьяне. Передаёт и мудрость селостроения: оно очень продумано и вписано в природу так органично, будто само здесь выросло, сообразуясь с законами природного мира.

А ещё карта дорога мне тем, что она «с двойным дном». Глядя на неё, я вижу таинственное, непередаваемое. Вижу то, что не обозначено в легенде. Места своих стеснительных свиданий и неумелых драк. Укромные уголки ночных подлунных озарений и долгих раздумий на солнцепеке архипенковского пруда. Места, где счастье не просто являлось ко мне откуда-то из небытия – а шумно и игриво взрывалось во мне самом, как дешёвая, но радостная китайская петарда, навсегда оставляя во внутреннем мире моём сладкие рубцы.

И точно так же обжигало меня чувство отчаяния и непоправимого горя. Когда, например, узнал, что дядя Витя, наш весёлый завсегда по рыбалкам, погиб на своей далекой чужбине – на берегу Азовского моря. Или что больше нет бабы Нины... Только ведь показывал ей диафильмы про маленького Мука!

И всё это раскрашивает карту иными цветами: цветами внутреннего, духовного рельефа. Но как положены эти цвета на карту, вижу только я.

Ведь у других моих односельчан – собственная топографическая раскраска.

«Я верю в графологию»

Удивительные открытия выпадают не только на долю вундеркиндов. Иногда их являют миру ребята, попавшие в беду. Об одном таком открытии мне хочется рассказать.

В лагере «Солнечная горка» начиналась первая смена. Я, новоиспечённый вожатый, слонялся по Пионерской комнате и ворошил кипы аккуратных, с цветными наклейками на обложках, папок. В папках таились всевозможные сценарии. «Малая Олимпиада», «Антифашистский митинг», «День Нептуна», «Игра «Украла вожатого»... А сценарий нужного мне «Костра знакомств» был даже в нескольких вариантах.

В распахнутое окно дышал чабрецом и отцветающим реписом бок Солнечной горки. Над кустами чилиги порхали бабочки. Обнимая один из склонов горы, прохладно рябила река.

Лето, взрослея, взывало наслаждаться жизнью, а сценарии, близнецы-сценарии-штамповки, разведали вокруг пыль и скуку. Пусть и дальше пылятся! И без них найдём способ познакомиться!

Так и отправились мы на отрядный костёр без предписанных замыслов. Выбрали себе поуютнее речной плёс, окружённый распушившимся ивняком. Расположились. И оказалось: мои четвероклашки – что пчёлы, умудрённые интуитивными навыками. Не надо им никаких подсказок! Те, кто ещё не успели пообщаться, торопливо выспросили друг у друга имена – и все занялись делом. Одни принялись сгребать в кучу паводковый мусор для костра, другая компания, отыскав на берегу сломанное весло, заговорила о его достойном применении. «Применили»: устроили соревнование, у кого больше брызг... Пришлось мне отодвинуться ближе к зарослям ив. Оттуда выбрался вспугнутый «отшельник», из отряда же. Пронеся мимо терпкий никотиновый запах, он деловито вытащил из штанов спички, принялся разжигать полусырые ветви. Костер занялся, и пламя потянуло ребят к себе. Они успокаивались, устраивались у огня.

На берегу остался только один мальчишка. Он, закатав штанины, бродил по успокоившейся отмели, высматривал мальков, чьи стайки видны были даже от костра. Мальки были прозрачными, их хрупкие хребтики просвечивали сквозь плоть. И мальчишка был прозрачен, сквозь мятую рубашку выпирал заметно сутулый позвоночник.

– Эй, моряк, с печки бряк! – окликнул его кто-то. Он не услышал. Продолжал стоять в воде на одной ноге, не решаясь опустить вторую в серебристое рыбье облако.

– Не мешайте... Пусть! – попросил я, ибо знал, что за долгую лагерную смену мы, и вожатые, и ребята, не раз будем мечтать, чтобы Юрка (Юркой звали того «моряка») вот так отвлёкся.

Юрка приехал в лагерь позже всех. Не на автобусе, как другие, а на чёрной «Волге» председателя строительного профкома. Профсоюзный начальник побывал у директора лагеря – и началась суетливая круговерть вокруг опоздавшего ребёнка. Директриса собственноручно повела его в столовую, потом – к спальному корпусу. Отозвав меня, она объяснила, что произошло. А произошла беда.

В один из июньских дней Юрик пошёл к матери на стройку. Коробка возводимой АТСки была уже пустынной. Рабочие разошлись по домам. В воздухе болтался вздёргнутый подъёмным краном компрессор и притороченный к нему моток кабеля. Это мастер требовал в конце каждого дня вздымать на верхотуру, под стрелу крана, всё более-менее ценное. Не было житья от воришек и любопытных «исследователей»! Тень компрессора – чёткий параллелепипед – покачивалась на замусоренной земле. Юра сел в затенении, начал сам с собой играть в ножички. Он дожидался, когда мать, штукатур-маляр, доделает свою работу. Мама задерживалась. Что-то там не давалось ей.

Вдруг со второго этажа послышались крики. Мать звонко кого-то материла. Нецензурщину она позволяла себе только в гневе. По выкрикам матери Юра понял, что какой-то ханыга, решив, что стройка опустела, курочил там, на втором этаже, электропроводку.

Юра подкинулся. Увидел в незастеклённом проёме стены спину матери. Мама пятилась и громко, на весь, наверное, город кричала:

– Убери топор, подлюка! Размахался! Я твою харю до единого волоска запомнила! ... скроешься! Сегодня же за решётку сядешь!

Мамка, изобразив пальцами решётку, продолжала потихоньку пятиться назад.

Юрка знал, что нужно броситься ей на помощь, но почувствовал в душе липкий, кисельный страх.

А мама... Мама вдруг запнулась о низкий порожек металлической секции. Вскрикнула. И полетела вниз.

У фундамента стоял огромный чан с гашёной известью. Ослепительные белые брызги ударили шрапнелью по стене АТСки. Юрка взвыл. Бросился к матери. Она, заляпанная белым, по горло стояла в жгучей жиже и наощупь искала бортик чана.

– Воды! Быстрее воды! – просипела она, когда Юрка помог ей выбраться. – Глаза жжёт! И руки! И грудь!

Юрка помчался к цыганским домам по соседству со стройкой. Черноволосый хозяин мигом откликнулся на его всхлипы. Бросился на подмогу. Кто-то вызвал «Скорую помощь».

С сильными ожогами мать увезли в больницу. А Юрка остался один. Он стоял у окна опустевшей квартиры, хотя ждать было некого, и грыз себя. Он клял себя за трусость. Ну чего стоило хотя бы закричать: «Мамка, я к тебе!». Всё было бы по-другому! Поймали бы вора-ханыгу! Здоровой и невредимой осталась бы мать! А Юрку не терзала бы совесть!

Но – не закричал! Онемел! Застыл, как на гипнотизёрской сцене! Тру-сиш-ка!

На следующий день к Юрке пришли люди из профкома. Велели собираться в лагерь.

...Он подошёл к костру, когда у нас уже затеялся сумбурный разговор. Изгоисто присел в сторонке. Краем уха ловил слова сверстников.

А мы продолжали углублять знакомства. Способ для этого отыскался неожиданный и не очень затасканный. Я вспомнил, что накануне прочёл популярную книжку про Зуева-Инсарова, известного в своё время графолога. И стал рассказывать ребятам о чудесах, которые он творил, выведывая по почерку характер любого человека, любого инкогнито. Графология, наука о почерках, заинтересовала моих подопечных.

– А вы сами-то читаете *почерка*? – спросила девочка в круглых очках (девочки больше верят во всемогущество вожатых).

– Можно попробовать, – скромно признался я. Достал записную книжку, авторучку. Девочка придвинулась ближе, близоруко склонившись над чистой страницей.

– Пиши: «Я ВЕРЮ В ГРАФОЛОГИЮ...», – попросил я. Девочка благоговейно заводила ручкой по бумаге, предварительно справившись, через «А» или через «О» пишется новое слово. Почерк у неё был самый обычный, школярский: слишком правильный и добросовестный. Зуева-Инсарова это, вероятно, смутило бы. Но не меня!

– Ага, – сказал я, так и сяк вертя записную книжку. – Так... Это... Здесь... Ну, вот смотри! Твоя строчка ползёт вверх. Видишь? А это явный признак того, что сейчас твоё настроение в полном порядке.

Это было безошибочно. У кого же плохое настроение в первый лагерный день?! Девочка изумлённо таращила глаза.

– Вот ещё важная особенность твоего почерка, – невозмутимо продолжал я. – Смотри... Буквы отстоят одна от другой. Разбежались, как драчуны. Знаешь, что это значит? Ты – натура художественная, артистическая.

Я сделал небольшое отступление:

– У Есенина такой же почерк. Буквы отстоят друг от друга во!.. – жест большим и указательным пальцами. – Ты, наверное, как Есенин, стихи пишешь! Или танцуешь, как Айседора Дункан!

Я сделал паузу. В нашем туманном деле паузы – самое важное.

Артистическая натура цокнула пересохшим языком.

– Ага, правильно! – подтвердила она. – Я хожу на акробатику! И в школьном хоре пою! А стихи – так, немножко, для бабушки! Вот это наука! Всё знает!

Знакомство наше нашло нужное русло. Важны были не мои слова. Важны были комментарии ребят.

– Суров, суров... – говорил я очередному желающему узнать свой характер. – Смотри, какие вершинки у твоих согласных! Острые, как шипы! Такой почерк у тех, кто любит подражаться...

Мальчишка, в котором и без почерка узнавался забияка, широко улыбался. Его синяк уплывал от переносицы к виску. А сам он щедро поведывал о себе:

– Я-то чё? Пусть сами не лезут! Сманили меня к «камнерезке», а сами не стали яшму брать! А сторож поймал! Тут они на меня!.. Будто я подбил камни собирать... А сторож... А я...

Выдержи паузу подольше – и услышишь все подробности и о друзьях забияки, и о «дворце», который он собрался ставить из шлифованных осколков яшмы, и о противном стороже, помешавшем «проекту века». Но паузы уже не получались долгими. Слишком многие хотели черкнуть в моём блокноте: «Я верю в графологию...».

– Гласные вверху открыты, – импровизировал я. – Не очень приятная деталь. Свидетельство неискренности. Бывает?

– Бывает, – *тупила* голову девочка с ослепительно красными ноготками.

– А ты уложил все буквы влево. Большой, видно, оригинал!

Шутливая окраска разговора между тем с каждой минутой испарялась – не эфирные ли масла? Ребята, поверив в мою проницательность, становились всё откровеннее, подходили в своих излияниях к пределу искренности. Это стало меня тревожить: кто я такой, чтобы исповедовать детей?! Потому поспешил:

– А если серьёзно, графология частенько построена на шарлатанстве. Как цыганка гадает не столько по руке, сколько по реакции человека на её слова, так и графолог... Хотя и дураку ясно: между характером и почерком есть зависимость. Только выяснить эту зависимость, все её тонкости – дело будущего.

Ребята разочарованно молчали. И вот тут вмешался Юрик.

– А зачем выяснять? – спросил он взволнованно. – Телевизором, например, пользуются все, а какие там тонкости внутри – мало кто знает.

Юра подошёл к костру. Стал сушить мокрую штанину, натянув её руками. Лицо окутал белый пар. Больше он не вымолвил ни слова. А на следующий день отправился в библиотеку. Я даже не подозревал, что это как-то связано с графологией. Оказалось связано, да ещё как!..

Юра искал на библиотечных полках книгу о Суворове. Причем не любую, а с суворовскими автографами, с репродукцией его писем ли, рукописи, просто подписи... Он задумал очень важный для себя эксперимент. Решил сделать похожими на почерк полководца свои неустойчивые каракули!

Если почерк зависит от характера, размышлял Юрка, значит, и характер зависит от почерка. Приучи себя писать, как Юрий Никулин, – и вот ты уже не просто четвероклассник Юрка, а клоун. Анекдоты так и слетают с языка. Каждое движение вызывает чей-то смех. Полная раскованность, остроумие, находчивость! А если научиться копировать летящий почерк Пушкина? Не подтолкнёт ли меняющийся на глазах характер, свободолюбивый и гордый,

к перу и бумаге? А если писать контрольные работы почерком Миклухо-Маклая? И делать домашнее задание, выводя буквы, будто Юрий Гагарин?

Юрка рассказал о своём открытии, сбиваясь и глотая слова. Но суть была ясна. Перспективы открывались величественные. Мне уже виделись школы, где первоклашки старательно копируют иероглифы какого-нибудь Тутанхамона. Начинать – так с истоков цивилизации.

Но Юрка вернулся к Суворову.

– Где его почерк отыскать? В библиотеке – только Ленин да Маркс! А мне нужен полководец!

Да, чтобы защищать мать, чтобы навсегда отогнать от себя липкий, кисельный страх перед негодяями, ему нужен был характер полководца. И – почерк полководца!

Я пообещал заглянуть при случае в районную библиотеку. Но лагерная жизнь не скоро позволила вырваться в город. А за Юриком через неделю приехали родственники. Маму выписали из больницы – и за ней требовался уход.

Так я и не знаю, состоялся ли лихой эксперимент, задуманный у лагерного костра, подтвердилось ли «изобретение», сделанное не вундеркиндом, а обычным мальчишкой, попавшим в житейскую передрагу.

Где-то хранится у меня старый блокнот с ребячьими: «Я верю в графологию...». Есть там и Юркин адрес, торопливо сделанный его рукой. Буквы – те ещё уродцы! Но иногда меня тянет к ним: не попробовать ли скопировать? Вдруг Юркина идея – не такая уж глупость? Вдруг за умением писать, как Юрка, придёт ко мне умение мыслить, как он, как другие ребята, на него похожие? Вдруг мальчишеский почерк поможет мне защититься от душевных перегрузок, от разного рода проблем, болотными пузырями вскипающих тут-там-тут?

Когда уходит от нас, от взрослых, это блестящее детское умение – разрешать любую проблему или хотя бы «сбрасывать» её, растворяя в своём воображении?

На чуды не надейся!

Костя (он же Котенька), первоклассник, размышляет о школе:

– На *чуды* и случайности надеяться не приходится. В школе только одна забота – как бы единицу не схватить!

– Совершенно не справедливо, что из-за одного человека наказывают весь класс. Все на тебя смотрят как на последнего человека и избить обещают.

– И вот идут ко мне толпой, впереди – девчонки. Я не убегаю, но отступаю. А позади – стенка. Окружили, исцарапали всего. А от учительницы мне же и попало: говорит, нужно было бежать к ней, а не к стенке.

– Ох, эта реформа! В нашем классе есть один шестилетний пацан. Максимом зовут. Хулиган! Все его боятся, он говорит, что каратэ занимается. Кто-нибудь проверял? Не проверял никто. А трусят. Я подошёл к Максиму, рукой вот так сделал (показывает), он сразу дёрнулся, кричать что-то начал. Тоже мне каратист!

– Да, на *чуды* и случайности у нас в школе надеяться не приходится!

1986, 26 апреля

Зелёные варежки

5 декабря 1984 года я познакомился с Максимом Лоскутовым.

С Наташей, его мамой, мы были знакомы через моих коллег, тележурналистов из детской редакции Свердловского телевидения. Изредка общались по телефону. Вот и 5 декабря я набрал номер Лоскутовых. Сообщил, что в Москве. Наташа пригласила в гости, но я ответил, что вечер занят: мы уже договорились о встрече с Евгенией Ивановной Стерлиговой, детской художницей. Как и я, Евгения Ивановна была в Москве на повышении квалификации. Жила неподалеку от «Речного вокзала».

– Возьми к Стерлиговой моего Маську, – сказала Наташа.

Я охотно согласился, поскольку про «Маську» в детской редакции Свердловского телевидения тогда ходили анекдоты. Про то, например, как Маська склонял несклоняемую «колибри»: маленькая колибриа, маленькой колибрии и т. д.

Маська тут же выхватил у мамы трубку и проговорил мне: «Встречаемся прямо на станции. Я буду в меховой шапке, полосатом пальто и зелёных варежках. Со спортивной сумкой».

Я приехал на «Речной вокзал» и немного растерялся: людей было много, толпа пестрела полосатыми пальто и разноцветными варежками.

Но вдруг посреди станции я увидел экзотическую фигуру: двенадцатилетний мальчишка в мохнатой, как у полярников, шапке держит перед собой огромную книжку «Сказки Пушкина» и, не снимая варежек, листает страницы. Приметненькая композиция! Надо ли говорить, что варежки были зелёными?

Я подошёл, мы познакомились.

Пока мы шли к Стерлиговой, я узнал, что в московских школах эпидемия!.. Все играют с пуговицами на нитках. Ж-ж-ж...

Потом он успел загадать мне загадку: «Полселёдки стоит полкопейки! Сколько будет стоить сто селёдок?».

Потом рассказал про «Ваньку-мокрого», за которым он ухаживает, про то, сколько возни с этим цветком: то ему холодную воду, то тёплую...

Евгения Ивановна спустилась к нам в холл гостиницы. Угостила огромным, как луна, грейпфрутом. Показала картинки про муми-троллей (она тогда рисовала эскизы к мульту, этот мульт сейчас часто повторяют по ТВ). Нарисовала для Макса муми-маму, Снусмумрика, Вислу с Тофслоу...

– Как хорошосла!.. – восторженно бормотал Макс. – Феноменальсла! А Хемуля нарисуйте, пожалуйста! А фрекен Снорк? А хатифнаттов? А Морру? Хорошосла! Генеальсла!..

Когда все герои Туве Янссон закончились, раскрасневшийся Маська прищурил глаза и спросил у Евгении Ивановны:

– А коллекцию марок?.. Которую Хемуль собирал? Нарисуете?

...Потом мы бродили по Горького-Тверской. Добирались до метро «Юго-Западная». Качались на качелях во дворе Маськиного дома. Придумывали – юные язычники! – как должен выглядеть Бог качелей. И соглашались, что это скрипучее существо любит, чтобы его чем-то смазывали. Например, пепси-колой.

Короткий зимний московский вечер заканчивался. Весь вечер Макс обращался ко мне на «вы» и говорил «дядя Юра», хотя «дяде Юре» было тогда 23 года. Но на прощанье он вдруг сбился:

– Хочешь, открою секрет? Только маме и папе не говори... не говорите. Мне скучно в картинных галереях. Я из вежливости с ними хожу туда. А сам даже не смотрю.

Я промолчал. Я тогда не очень понимал, что важно не содержание секрета, а сам факт доверия... И, кажется, всерьёз обдумывал: хорошо это или плохо – скучать в Третьяковке. А Маська вдруг воскликнул:

– Варезки!..

Где-то мы их оставили! Может, в холле гостиницы у Евгении Ивановны. Может, на Тверской-Горького. Может, когда ублажали Качельного бога, глотая из горлышка колючую пепси и поливая остатками шарниры штанг.

– Ну, и ладно! – легкомысленно махнул рукой Маська. И я тоже был легкомысленен, совершенно не подозревал, насколько серьёзна эта потеря: зелёные варезки!

...Сегодня я каждое утро еду по «зелёной ветке» на работу. И иногда мне хочется доехать до «Речного вокзал». Мне кажется, там по-прежнему можно встретить Маську. Что он так же стоит под гулким метрополитеновским куполом и листает толстенную книгу Пушкина, не сняв варезек – чтоб заметнее!

Я улыбаюсь, я думаю, сколько новостей накопилось у нас за четверть века! Я предвкушаю эти разговоры... И про Качельного бога, и про Ваньку Мокрого, и про картинные галереи! Об этом ведь ни с кем больше не поговоришь!

Но потом я вспоминаю, что зелёные варезки мы потеряли! Ещё тогда, в 84-м... А без них и без книги Пушкина нам не найтись в толпе.

И я выхожу на Тверской, пересаживаюсь на лиловую, и еду до офиса. Выхожу из метро – прямо в туманно-дождливый декабрь с десятиградусной плюсовой погодой. И спрашиваю сам себя: «Бог качельный, ну какие тебе тут варезки, Юрий Васильевич?! Какие тебе варезки?! В такую-то теплынь?».

И сам себе отвечаю: обычные, зелёные. Ведь они не исчезли, они просто потерялись. И кто-то новый обязательно их найдет. Примеряет. Приглядится. И однажды по телефону донесётся до меня звонкий смеющийся голос: «Дядя Юра? Феноменальсла! Встречаемся на „Речном вокзале“! Я буду в центре зала. В меховой шапке и в зелёных варезках! Не забыли, как это выглядит? А, дядя Юра?».

2. КАМЕНЬ ХРАБРОСТИ (повседневная жизнь подростков XXI века)

Страх

– Получается, я как бы умер? – Андрей-Мелкий лежал на пыльном операционном столе и тарачил на нас свои круглые двенадцатилетние глазщицы. Но до этого стола был долгий путь по тёмным коридорам, переходам, галереям старой заброшенной больницы. Мои юные друзья с окрестных дворов вытащили меня сюда уже во второй раз.

Первый раз нас было всего пятеро. Вечером было душно, я вышел прогуляться, – и компания местных подростков пошла со мной. Мы дошли до Собачьего парка, побродили у пересыхающего пруда. А потом Фокс, Мелкий, Слим и Флэшка предложили свой маршрут: «Давайте в больничку, а?».

Мы не торопясь побрели через Зелёную рощу – в медгородок. Там, между сосен, высилось в темноте шестизэтажное здание в стиле сталинского ампира – когда-то это была лучшая больница в городе. Потом, в перестроечные годы, её угробили.

Угробили... Вот и выплыло тональное слово. За этим мы и шли – за околоробными делами, за жутью, за адреналином. И в первый раз, надо сказать, получили по полной.

Слим показал окно, где выбита оказалась решётка. (Слим самый бродячий в компании – в радиусе километра от двора он знает все дыры, щели, потаённые места, знаком с продавцами ночных киосков и бомжами, водителями поливалок и сторожами). Слим показал вход – окно со снятой решёткой, а сам в тёмную пасть громадного сталинского «вампира» не полез. И уже это всех напрягло. Но на миру и смерть красна – и решительный Фокс заскочил на табуретку, приставленную к проему окна (кем?), и взобрался на подоконник. За ним – Флэшка. Потом Мелкий.

С той стороны, почти под подоконником, стояли «турникеты» раздевалки. Мы прошли под ними. Двинулись в сторону угадываемого в темноте проёма. Под ногами хрустело стекло. Вышли в бывшее фойе. Закрытые двери лифта. Вверх – лестница. Массивные перила, широкие ступени. Поднялись на второй этаж.

Эх, какую красоту угробили! В лёгком свечении июльского месяца видны были расходящиеся от лестничной площадки коридоры. Анфилады комнат с раскрытыми дверями. Мы заглянули в несколько кабинетов. Валялись регистрационные журналы, книги (на обложке одной удалось прочитать «Марина Влади. Прерванный полёт»). Покорёженные металлические шкафы. В угол сташены раковины умывальников. Огромный пластиковый шприц. Кушетки. В одной комнате даже шторы не сняли – и они висели здесь уже десятилетие, не раздвигаемые по утрам ничьей рукой. В другой комнате на столе стоял заварочный чайник. Кто-то чиркнул зажигалкой – и мы увидели плесень на его дне. Было полное ощущение, что из больницы в панике бежали – и врачи, и сестрички, и больные, ходячие, конечно. А те, кто не мог ходить, – так и остались на кроватях, кушетках, а может, даже на операционных столах.

Но меня больше волновала не встреча со скелетом на операционном столе, а люди живые... Здесь было много следов потайной жизни. Странные пиктограммы на стенах, незатейливые бомжовские интерьеры в углах некоторых комнатушек. Страшнее было нарваться не на привидение, а на какого-нибудь *обпыженного* наркомана, который не вышел из своих глюков и неясно как может воспринять нашу «материализацию».

Мы дошли до третьего этажа. Пора было закругляться. Перед уходом пацаны предложили «сделать локацию». Замолчали, вслушиваясь в жизнь ночной заброшенной больницы (есть ли

она тут?). Но только едва уловимое сопение моих попутчиков колыхало спёртый воздух прошлого. В темноте не было видно их лиц, это на следующий день, во время примерно такой же ориентировки на местности, мне удалось щёлкнуть фотоаппаратом. Вспышка – и враспloch застигнутые, высвеченные мордахи навсегда остались на фотоматрице. Невероятно странная картина! Один был возмущён. У другого – зарождающийся страх. На третьем лице – беспечная улыбка. Четвёртый – спокоен как... Фокс. И никаких ниточек от настроения к настроению. Каждый живёт в мире своих эмоций. Оказывается, темнота – враг солидарного настроения. Но она, эта солидарность, вскоре выказала себя.

Где-то далеко внизу (в раздевалке?) зазвонил телефон. Хрипло, нудно, монотонно. Будто из мира, где нет никаких сотовых мелодий – а только это: дзи-дзи-дзи-дзи.

И тут же вверху, этажами выше, замыкала кошка. Далеко-далеко. Жалобно-жалобно.

Мелкий бросился бежать. За ним Флэшка и Фокс. Я пошёл вниз степенно, но волна озноба холку покрывала-таки. Оказывается, самое солидарное настроение – паника, страх.

Вот таким был первый раз. А во второй раз подростки уже подготовились. Нас стало больше: появились Лёша (Винтер) и его брат из Радужного Андрей, пришли Аня, Лёша-Рыжий. Ещё присоединился папа Фокса. Ребята взяли фонарики. А Слим – мини-радио с большой колонкой (чтобы не скучать по пути). На этот раз исследовательская экспедиция спустилась в подвал, который под землёй вёл в морг, потом добралась до шестого этажа. Фонарики помогали обнаруживать странные детали. Вот электрощит с раскрытой дверцей, на дверце надпись «морг», а мелом приписка: «Осторожно, работают люди!». Вот стена, в трех местах забрызганная мелкой изморосью марганцовки (или не марганцовки?). Вот недавняя надпись мелом: What? (Кто?). Это what встречалось нам постоянно – на дверях, на стенах и даже на полу, на остатках паркета.

Но, тем не менее, былого страха и след простыл. Слишком многолюдно, слишком «фонарично». А тут мы с фоксовским отцом ещё припомнили, что когда-то нам в этой больнице, чуть ли не в одно время, удаляли гланды. И даже нашли эту операционную.

Там мы остановились у операционного стола, заляпанного краской, и заспорили: тут ли мы расставались с собственными гландами или нет? Мальчики и девочки заскучали и, показалось, пожалели, что взяли с собой взрослых.

И тут, чтобы восстановить экстрим-настроение, я предложил одну невинную штуку. Раньше хорошо известную всякому по опыту пионерлагерей. «Подъём человека одними указательными пальцами». Быть таким *поднимаемым* человеком вызвался Андрюха-Мелкий. Мы уложили его на операционный стол. Выключили фонарики. Подсунули под него свои указательные пальцы. Я стал объяснять:

– Сейчас повторяем за мной по кругу одну и ту же фразу. И как только дойдёт до фразы: «Пусть черти хоронят!», – все вместе поднимаем Мелкого вверх.

– Получается, я как бы умер? – спросил Мелкий.

– Да, нет. Это просто типа считалки. Поехали! Барин умер... – начал я заунывным голосом.

– Барин умер, – хорошо подыграл мне Фокс.

А вот на Андрее из Радужного случилась заминка. Он пытался сказать считалочную фразу, но голос не слушался. Он выдернул пальцы из-под Андрея и отскочил в сторону: «Я не буду!».

Мы продолжили без него.

– Будем хоронить!

– Будем хоронить!

– Будем хоронить...

– Не будем хоронить!

– Не будем хоронить!

– Не будем хоронить... – я вслушивался в голоса ребят и чувствовал, как полны они страхом. Это был не тот страх, который когда-то в советско-пионерские времена неизбежно рождался на таких вот «дурилках», страх перед всякой нежитью! У нового страха новых ребят была совсем другая природа. Они, показалось мне, вдруг разом испытали неловкость, оттого что их втянули в какой-то странный ритуал. Старая игра-пустышка (по крайней мере, такой она казалась нам лет тридцать назад) современными подростками воспринималась всерьёз. Примерно, как «чёрная месса», знакомая им по книгам и фильмах. И даже по рассказам! Славная моя компания, видел я уже, боится, но боится не мертвецов, упырей и прочего сброда, а боится покушения на собственную веру. Боится, что странный ритуал, затеянный посреди пустынной тёмной больницы, навредит тому их внутреннему покою, который именуется «верующая душа».

Они верили в разное. Но все они верили!

– Пусть черти хоронят! – мы наспех закончили ритуал советского пионерского лагеря. Легко подняли Андрюху на пальцах, потом аккуратно вернули на землю. Мелкий засмеялся. Потом перекрестился, защищая себя верой.

Потом мы вышли из тёмной, глухой комнаты в коридор. Галерея разбитых окон выходила на Зелёную рощу, на монастырь, на храм. Над храмом тонкими голубыми и розовыми полутонами светился крест, подсвеченный стараниями игумены монастыря. Он был и далёк, и близок.

Андрей из Радужного шагнул к подоконнику и замер, вбирая в себя льющий свет. Кто-то стоял подальше. Кто-то ближе. Но света досталось всем. И на виду этой городской панорамы нам поскорее захотелось на свежий воздух, в жизнь, в современность, в реальность, где новое поколение подрастает, чтобы строить новые больницы и новые храмы.

2005, август

Без проверочной работы

В нашу гостиную ребята пригласили отца Андрея из Крестовоздвиженского храма.

Первую часть он «утопил» в абстракциях: мальчишкам было просто трудно сосредоточиться, ничего не видя перед собой, не визуализируя речь священника. Но потом, когда пошли вопросы, разговор немного оживился.

Запомнилось у о. Андрея: самоубийцы снимают крестик с груди, с крестиком не удаётся лишить себя жизни.

Про крестик – факт легко проверяется. Взять милицейские протоколы при суицидах. Медицинские осмотры и освидетельствования. Там это всё есть – что было на теле, чего не было. Можно сделать статистические обобщения: кто из самоубийц был с крестиком, кто без него. Простая статистика уведёт к доказательству (опровержению) влияния креста (равно как и других оберегов) на суицидальные акты.

Но как-то хорошо прозвучало у отца Андрея: крестик не даст наложить на себя руки. И подумалось: пусть так и впредь звучит. Не надо здесь ничего доказывать и опровергать. Когда-нибудь и кто-нибудь действительно остановится от последнего шага, вспомнив эти простые слова про крестик. А высшую смысловую реальность таким незатейливым исследованием всё равно не проявить.

Добро должно быть с битами?

Его опять побили. Поехал к другу на Юго-Западный. Там ему понаставили синяков. Я после выходных с ним встретился – фиолетовые мешки под глазами.

Да, этот парень – не сахар. Затычкой лезет во все дырки! Не следит за языком. Но... бьют его не только поэтому. Бьют из-за какого-то системного изъяна в его воспитании. Точнее, в полном отсутствии последнего. Воспитание у него заменено поспешной, приблизительной социализацией. Дома с ним две женщины, которым мальчик, в общем, не нужен. «Улица» им, если по хорошему, тоже не занималась: это ведь миф, что «улица» способна воспитать кого угодно. Увы, у улицы тоже есть «любимчики» и есть «изгой». Тот, который сегодня с синяками под глазами, – изгой.

Но он мечтает быть не изгоем, а фаворитом.

– Ты хоть одному ответил? – спросил я, имея в виду обидчиков.

– Ещё как! – бодро рапортует он. – Мы потом на Юго-Запад целой бригадой приехали. С битами! Представляете, какое месиво там было?

Прошлый раз, когда его побили (недели три назад), он тоже рассказывал про эту мифическую бригаду. Про защитников с битами. Похоже, это его главный на сегодня идеал приемлемого мироустройства – и он в него верит.

– Я рад был тебя видеть, – тихо сказал я на прощание. И услышав это, он мгновенно уронил со своих глаз пелену тумана, напускной жёсткости, смёл эхо своих фантазий про бригаду с битами. Глаза стали чистыми, доверчивыми и совсем-совсем детскими.

Самое печальное, что с такими глазами защищаться ему будет ещё труднее.

2006

Весна красна, с погонами

Вчера попал в эпицентр милицейской «операции».

Её участниками стали соседские мальчишки. Итак, двое из них, вижу вчера, вышагивают у гаражей. Поздоровались. Один не выдерживает, хвастает:

– Мы барыгу ловим!

– Кто – «вы»?

– Вон, с ментами, – кивает на автомобиль в глубине двора. Свет в салоне погашен, никого не видно.

– А ловите кого?

– Да вы его видели. Он с нами ходил. Живёт рядом. Восемнадцать лет ему. Мы дали тысячу, сейчас он принесёт пять *наков* (это 28 косарей!). И ему каюк!

– Подожди! – не врубаюсь я. – Каюк – из-за вас? Из-за того, что вы его подставляете?

– А пусть не банчит!

Вот такая «операция»! «Контрольный закуп» – руками несовершеннолетних.

На следующее утро, то бишь сегодня, вновь сталкиваюсь с новообращёнными «оперативниками». Один из них, назовём – Белый, просит сфотографировать его. Фотка нужна для удостоверения. Для «красных корочек». Там будет написано хоть и мало вразумительное, но зато внушительное: «помощник».

– Это за то, что вчерашнего «гангстера» поймали? – уточняю я. – Ну, своего приятеля?

– Теперь он нам не приятель, – хмурится Белый.

– Конечно, угонщику машин банчило не товарищ.

Белый краснеет. «Угонщик машин» – это он. Решили покататься прошлым летом. Выпили пиво – и вперёд, до первого дерева! До сих пор тянет лямку «принудительных работ». Этим страшным словом поначалу обозначалась всего-навсего уборка вокруг родной пятиэтажки. Но на каком-то этапе «воспитателям» в красных погонах захотелось, по-видимому, расширить поле деятельности. И мальчиков взяли «на операцию». Хорошо хоть, «левольверт» не дали!

Давно я не размышлял над таким г..! А размышлять надо. Хотя бы для себя. Ситуация ждёт ясных оценок. И я говорю парням:

– Банчить плохо! Это один из самых низких уровней «отстоя». Но сдавать своих, заманивать в ловушку, а потом отдавать на растерзание – ниже некуда! Юридические нормы жизни и нравственные иногда не совпадают. И когда такой болезненный разрыв обнаруживается, я за тех, кто выбирает нравственный закон.

...Последние слова я думаю уже про себя. Шагаю через пустырь напропалую, втягиваю несущийся от недостройки запашок ганджибаса (мерещится?), втаптываю в мокрый снег собачьи какашки и отмечаю, что весна пришла. Весна красна! Красна, как те погоны!

2006, 7 марта

Звук потише!

В метрополитеновском переходе раздавались два резких фальцета: молодой мент бурно спорил с молодым бомжем.

«О, великий маг!..»

Сегодня мои «подросткеры» опять дожидались меня у дома. А чтобы не скучать – они развлекались. Очень так невинно. Кто-нибудь ложился на скамейку. Денис пережимал добровольцу сонную артерию, усыпляя того. Потом бурно обсуждались краски и сюжеты видений. И такой шабаш – на глазах моих соседей!

– Ну, даёте! – только и осталось сказать. – Полдома теперь гадают, что за секту я тут приютил.

– А давайте покажем эту «секту»! – предложил Денис. – Представляете? Ближе к ночи мы появляемся здесь в чёрных балахонах, с косами в руках и факелами. Обзваниваем все двери в вашем подъезде. И как только жильцы врубятся в ситуацию, мы звоним вам. Вы выходите. А мы падаем на колени и кричим: «Повелевайте, о, великий маг!».

Я моментально представил всё это (как-никак тоже фэнтези читаю!). И... будто самому пережали сонную артерию. Причудливые образы выплыли из нереального света. Блеснули синие лезвия кос. Низким жаром дохнуло от факелов в руках мальчишек. А из их распахнутых глазниц струилась смиренная готовность...

– Поднимите-ка окурки с земли, – сказал я. – Понашвыряли! Вон же урна.

Но это было не повеление. Это была просьба, маленькая и необременительная, – да и с такими я нечасто лезу к юным людям. Потому-то и можно мне предложить: «Повелевайте...».

2006, 10 апреля

Назвал бы фильм по-другому

Если бы наш многоуважаемый Никита А. был Эмиром Кустурицей, он бы, с его слов, проделал над фильмом «Помнишь ли ты Долли Белл?» две операции.

Во-первых, вырезал бы из него сцену смерти Махо (отца главного героя – подростка Дино).

Во-вторых, назвал бы фильм по-другому: «С каждым днём, с каждым часом у меня получается всё лучше и лучше!». (Если помните, этой фразой Дино программировал себя, убеждал в том, что он умеет гипнотизировать, – этакое НЛП 50-х годов).

И то, и другое нужно Никите-«Кустурице», чтобы фильм стал «более позитивным». Реализм, тождественность художественных образов и жизни, сложной, противоречивой, разноплановой, Никите не очень нравится. По крайней мере, когда мы смотрели фильм, сцену со смертью он «промотал». Мол, напрягает!

Потом завёл эстетический разговор: зачем отражать способами кино «всякое г.»? – его и в жизни хватает. «Нужен позитив. Вот я вам принесу фильм...», – и пока он подбирает мне фильм на уровне передовой «эстетики позитива», я всё думаю про эту самую эстетику. (Как бы её назвать поточнее – «позитиффизм»? – чтобы жаргонным включением развести с контовским позитивизмом?).

Так вот, беспокоит меня этот самый «позитиффизм». Потребительский заказ «Сделайте нам позитиффно!» рождает арт-конгломераты усечённые, далёкие от реальности, а значит – и от реальных бед, болезней, страданий. И поскольку отсекается все «негативное», всё болезненное, всё, что способно породить боль, – отмирают в душе те центры, которые отвечают за сочувствие, сострадание.

Посмотрим, какой фильм он подберёт в замену несовременного Эмира Кустурицы.

2006, 14 июля

О гламуре

После гонок по городу (банк – университет – типография – книжный магазин – издательство) в библиотеку, к занятиям с юнкорами примчался взмыленный. Точнее – наэлектризованный. Снял шапку, а волосы буквально – дыбом... Моих юнредов, предновогодне возбуждённых, это развеселило. И я на некоторое время стал объектом их остроумия, «парикмахерских» советов и имиджевых консультаций. Впрочем, закончилось все серьёзной Лёшкиной рекомендацией: «Есть специальный лак, можно уложить волосы, побрызгать – и всё будет нормально!».

В принципе, ни капли не сомневаюсь, что мой внешний вид (как и габитус других) всегда важная тема для подростковой рефлексии. Это в природе возраста – улавливать настроение встречного, ориентируясь, в первую очередь, на внешний вид. Внешний вид – самая полная информация для работы интуиции.

Сегодня же – ещё одна реакция подростков.

В зал, где мы занимались, зашёл незнакомый парень (22 года). Растрёпанный, рассеянный. Сказал, что собирается получить второе образование по журналистике, и спросил, можно ли у нас бывать на занятиях? Я пригласил посидеть, послушать, чтобы определиться, сможет ли он вписаться в нашу устоявшуюся компанию.

Но тут мои подростки неожиданно «заволновались». Начали кривляться, хмыкать, выказывать плохо закамуфлированное непочтение к гостю. Я потом спросил, что за фокусы? Ответили: а нам интуиция подсказывает – не наш человек!

Новичок был отторгнут полностью. Меня «поймали» на взъерошенности.

Я возвращался домой и обдумывал их желание побрызгать меня лаком. По сути дела, сквозь стёб просочилась их вполне ощутимая жажда... гламура. Да, да, гламура. Но не совсем было понятно, откуда это. Либо просто выловлено из общей атмосферы (здесь новую эстетику культивируют, в первую очередь, СМИ). Либо потребности более глубокие.

Гламур – это противоположность хипповско-битнической антирациональности. Гламур – это эстетика рационального.

И желание моих подростков всучить мне баллончик с лаком – это (обобщаю) стремление жить в мире рациональном, строго определённом и жестко зафиксированном в этой определённости.

Так, что ли?

2006, декабрь

Ночёвки

У подростков есть много обычаев, которые у взрослых уже практически не встречаются. Одна из таких особенностей: изредка ночевать друг у друга, просто так, без острой необходимости, «ознакомительно», что ли.

Я сам помню по юности, сколько в этом было завораживающего – остаться на ночь в чужом доме. Раскрывалась перед тобой прикровенная жизнь чужой семьи. Допуск, полученный к чужой частной жизни, почему-то волновал, делал проживаемые мгновения острее и ярче и... поучительнее, наверное. А, оказывается, внутренне ахал ты то и дело, вон как у них заведено! Оказывается, они любят на ужин мелкую картошку в мундире, политую подсолнечным маслом. Оказывается, отец твоего друга мажет перед сном поясницу какой-то остро пахнущей мазью, и её запах вплетается в другие запахи чужого быта. Оказывается, на ночь здесь оставляется включённым старый поцарапанный ночник в форме кремлёвской башни. Ты разглядываешь на потолке багровые пятна света от кремлёвской звезды и переживаешь созревание в себе нового опыта. А ещё – особенно остро чувствуешь разлуку со своим домом, со своей семьей: это чувство готовит тебя к будущему.

Едва начались каникулы, мои орлы разлетелись по «гнездам» друг друга. Никич, скорее всего, у Арена, Лёшка – у Саши, или оба подались к Славе. Андрей тоже наверняка обживает чужой быт.

Обычай этот живуч, тянется сквозь десятилетия. Значит, реализует какие-то важные потребности созревания, взросления.

2007, 3 января

Поколение

Если быть социологически точным, понятие «поколение» используется, во-первых, для раскрытия «структурных отношений между родителями и детьми». Здесь «шаг поколения» примерно 25 лет. Во-вторых, за поколение принимают возрастную (социально-демографическую) когорту (ровесники, объединенные общим опытом), при этом учитывают, к какому значимому (влияющему на сознание) событию тяготеет эта когорта. «Социологический словарь» Аберкромби и др. определяет поколение как «социальную когорту, коллективный исторический опыт которой сформировался под влиянием важного события или событий, а память выстраивается вокруг повторяющихся ритуалов и значимых мест, как в случае с поколением шестидесятых». Исходя из этого, иногда 13-18-летние будут тяготеть к одному событию (XX съезд КПСС), а иногда близлежащие события «растянут» их по разным когортам, что-то типа: на 18-летних повлиял распад СССР, а на 13-летних – только расстрел Белого дома... То есть «эпоха» и «поколение» находятся в более сложных взаимоотношениях.

2007, 4 февраля

К вопросу о восприятии мира

Поздний вечер. Карьер на юго-западной окраине города. Пятно красного заката над нами – всё темней и темней.

Узкая полоска пляжа и даже отвесные скалы заполнены отдыхающими. Негромкое гудение заканчивающегося жаркого дня.

Вдруг где-то за скалами, за кустарником, за невысокими елями – вой собаки. Протяжный, долгий, тоскливый.

Пляжный люд вмиг замолкает. Слышится, как катится пустая пивная бутылка. Две девочки-подростка, примостившиеся на шершавом камне, жмутся друг к дружке.

– Чего она? – спрашивает младшая про несмолкающий вой.

А старшая, переборов внутреннее оцепенение, вдруг отвечает с легким озорством:

– Это хозяйка спросила свою собаку: «Мой муж сколько сегодня выпил?». А собака ей отвечает.

2007, 19 июля

Корявый лёд

Пешеходная улица Вайнера поздним вечером жадно собирает на себя кружащий снег. Хоть немного побыть зимней!

Пешеходов всё меньше, прогалин-следов на снежном порошке всё меньше, слякоти всё меньше. Почти зима. Лишь бронзовый Артамонов всё крутит неуместные свои педали, невпопад взывая к лету. Да у пицца-ресторана лето... вытоптанно. Там группка молодых. Топчется по снежной новизне. По-броуновски перемещается в своём расплывшемся тёмными следами кругу. Что там – с трамвайной остановки не видно. Но передвижения всё быстрее, жестче, агрессивней... Резкий грохот – смесь бьющегося льда и стекла, что ли.

Потом – можно рассмотреть – отпружинившая от группы фигурка подскакивает к стене, часто молотит кулаками по водостоку. Тот гремит, как корыто.

– Вот сволочи! – быстрый комментарий... даже не важно, кого. Кто-то на остановке, не вглядываясь: – Вот сволочи!

Быстро двигаюсь по запорошенной улице. Цепочка любопытных следов, несущих дурную голову в центр агрессии. Не знаю, зачем лезу. Может, кажется, что там «мои». Может, надоело ждать трамвай, а пешком – как раз мимо. Может, не убывающее моё желание убедиться, существенно убедиться: «а на самом деле, сволочи – не сволочи?».

Подхожу. Вполне миролюбивые ребята. Студенты. Бурное обсуждение того, что только что произошло. Из водостока, подтаяв, ухнула вниз глыба льда. Осколком зацепило девушке ногу. «Такой корявый лёд! Такой корявый...» – испуганная девочка бормочет одну и ту же фразу, потирая коленку.

А прыгающий с кулаками парень... Это, оказывается, он так вступался за напуганную красавицу: отбарабанил кулаками по водосточному жёлобу, вытрясая из него остатки ледяного заряда. А потом переметнулся к другому жёлобу – подальше от крыльца. И тоже – трах-та-ра-рах! И озорно, и агрессивно. Чтобы корявый лёд – оземь! В облако синих брызг!

Вот и всё. А трамвай потащит по городу кого-то, даже не заметил, кого... уверенного, что судьба вновь свела его со сволочами, наглыми и агрессивными. И сколь ни баюкай такого мягким плавным снегопадом, всё равно он будет защищаться от мира грубостью, агрессией, сжатыми кулаками, называя их ответными.

2008, 28 января

Магнит на холодильник

Несколько дней назад у меня «ВКонтакте» появился Лёша. Хмыкнул, исчез. А потом, с его подачи, вдруг объявилась целая толпа. «ЮрВасы» (так называет себя моя подростковая гвардия) и сочувствующие. Первый день общался до двух ночи. Узнавал новости. Отвечал на слова признания... Сам говорил комплименты.

Второй день – до полтретьего утра.

Потом понял: надолго меня не хватит.

Да и не так уж нужно моё общение ребятам. Им важнее другое, чтобы среди друзей болталась и моя фотография. Как память о их собственном замечательном детстве.

Так, вернувшись из прекрасной турпоездки, вешают на холодильник магнитик. С картинкой далёкого города. Этот магнитик – свидетель счастливых дней и напоминание о них.

Я – такой же магнитик. Я болтаюсь на ребячьих «холодильниках» и своим видом отношу моих повзрослевших друзей к самой счастливой поре их жизни. Просто волею обстоятельств я оказался «замешан» в их взрослении и вот теперь что-то собой символизирую.

2009, апрель

Бриллиантовая рука

В вагон метро втекают четыре смайлика. Точнее, входит молодая женщина, у которой брови, как дуги. А рядом сын – двенадцатилетний мальчишка. С такими же бровями. Садятся рядышком.

Мальчик склоняет голову на материнское плечо: и смайлики становятся на место – изображают радость на кротком сообщении лица.

Женщина вздыхает и клонит голову к макушке сына. Теперь и её брови-смайлики значимы: только они противоположность улыбки. Смайлики печали. Почему, и гадать не надо. На руке мальчишки гипс. В гипсовом корсете – безымянный палец и мизинец. Как их можно сломать? Если только расшибать ребром ладони кирпичи. Или делать что-то похожее.

Мальчик улыбается. Мама грустит. В семейных отношениях, как в сообщающихся сосудах, – разные уровни. От этого лёгкое напряжение. В мире полно напряжений во сто крат мощнее. Но почему-то хочется разрешения вот этого, невеликого...

Поезд останавливается. Мальчик вскакивает. Пытается схватиться за поручень. Гипс громко стучит о поручень.

– Фу ты, – восклицает мальчишка. – Бриллиантовая рука!

И они с мамой начинают негромко смеяться. Про руку не уверен... Но смех здесь точно бриллиантовый. Наверное, именно так звучат пересыпаемые из ладони в ладонь бриллиантики.

И всё! Потенциал напряжения исчез. Настроение в сообщающихся сосудах выровнялось. Мир вернулся в семью.

А за малым порядком вдруг настанет и большой?

2011, 1 ноября

Гулливер

Шагает впереди меня подросток. Росточка невысокого. Коротышечка. Но полон достоинства. И откуда оно, это достоинство, не сразу могу понять.

Лишь потом различаю: в руке у пешеходика – фирменный пакет магазина «Гулливер». И парень держит себя так, будто опасается ненароком кого-нибудь задеть в своей великанистости.

А всё – пакет в руке. Всего лишь знак. Всего лишь брэндик. Но какую статью-то придаёт парнишке.

2011, 11 ноября

Жирафы

Едет длиннющий кадет в вагоне метро. Лопухий, худой и длинный-длинный.

В камуфляже. На бушлате – погоны. На погонах – пластмассовые буквы КК («Кадетский корпус»). Только буквы надломаны.

У первой К отломана верхняя половина вертикальной палочки. Буква смотрится как жираф, склонивший шею. Жираф покорный, смиренный, готовый на всё.

У второй буквы К отломана верхняя диагональ. И это, конечно, жираф с горделиво поднятой головой.

Так и стоят на погончике два жирафа друг перед дружкой. Один виновато тянется ко второму. А второй (вторая?) – замершая неприступность. КК. Иероглиф незавершённого конфликта. Иероглиф трудного разговора. Иероглиф нечеловеческих страстей.

А может, это знаки заговора?

КК. Окаменелое постоянство, соблазняемое длинношеей подвижностью.

Может, это знак какого-нибудь кадетского тайного общества? Например, общества «Жирафы»?

Вот бы спросить у кадета.

Но тот плюхается на свободное место. Закрывает глаза. И дремлет, всё сильнее расслабляясь. Сползают с колен ладони. Опускается голова. Даже уши-лопухи, кажется, расслабленно обвисают вдоль щёк.

Что его сморило? Отчего утомился? От страстных «разборок»? От тайных замыслов?

Не известно. Молчит парень. Только посапывает.

И лишь на его погончике – то ли энергичная сцена объяснений-оправданий, то ли осторожный ход вкрадчивого сговора. КК.

2011, 11 ноября

Разрушение красоты

Очаровательная девочка сидит на скамье. Над ней склонился мальчик. Что-то там возится над своей попутчицей. Вечная тема влюблённых?

Вечная, да не вечная. Что-то меня настораживает. Присматриваюсь. Парень фотографирует девочку на сотовый. Для этого изгибается, выворачивает руку, заносит объектив сотового почти под нос девочки, стопорит его под острым углом, провоцируя самый невыгодный ракурс. Щёлкает затвором.

С удовлетворением разглядывает снимок на экране. Потом протягивает сотик девушке. Мне тоже виден результат: лицо на фотопортрете искажено, нос стал огромным – по сравнению с изящной реальностью. Одна ноздря зияет как чёрное дупло, вторая – узкая слипшаяся щёлка. Глаза закатились вверх. Одним словом, жуть!

Девочка хмурит брови, ругается, просит остановить несуразный фотосеанс. Но парень, возбуждённый этим разрушением красоты, ещё больше старается в поисках необычных ракурсов.

И я его вдруг понимаю. Я просто соотношу его маленькие суетливые усилия с тем громадным, растянутым во времени движением художнического мира, которое называлось, например: ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Не он первый, этот мальчик... Сто с лишним лет назад красоту уже брали на излом, поскольку пытались понять, как она может сосуществовать рядом с войной, грязью, окровавленными бинтами и убийствами. Красота исходила на крик. На «Крик» Мунка, если хотите.

Что-то похожее и сегодня. За внешним «приколизмом» – глубинная потребность понять, как ЭТО может сосуществовать с равнодушием, с холодом мегаполиса, со всеобщей упёртостью в вопросы прибыли и барыша. Осторожное прощупывание: насколько ЭТО прочно, долговечно, неистребимо.

ЭТО – милая вздёрнутость девчоночьего носика, ровные дуги трепетных ноздрей, слабый румянец на гладкой упругой щеке.

Потому и силится парень – ЩЁЛК, ЩЁЛК... Чтобы перламутр зубов сквозь раздвинутые губы – как стёсанный временем клык старого пса... Едва заметные складки от крыльев носа – как потрескавшееся лицо столетней старухи...

ЩЁЛК, ЩЁЛК... ЩЁЛК, ЩЁЛК... Новые удары по красоте – как расплата за сегодняшнее нестроение мира.

2012, 4 марта

Исихастские наушники

Не скажу, что каждый день вижу в метро подростков, читающих Библию. Поэтому парень, с которым я встретился вчера, меня привлёк. Он сидел в уголке вагона, тихий, сосредоточенный. Не отрываясь, смотрел в книгу. То, что это Библия, угадывалась по колонке со ссылками. Помните, есть такая посередине страницы, подсказывающая параллельные места в священной книге? Ещё почти уверенно можно было сказать, что читается Откровение Иоанна (книга открыта ближе к концу). Для подростка – объяснимый выбор. Там – завораживающая динамика футурологической сцены, там невиданные фантастические образы. Фантастика меркнет!

Парень выхватывал со страницы очередную строчку. Чуть закидывал голову, уткнувшись затылком в обшивку вагона с рекламой. Долго сидел не двигаясь. Осмыслял прочитанное. Взгляд его голубых глаз улетал в места нездешние. Высокое, брыластое, как у писателя Крапивина в юности, лицо держало на себе отсветы далёких (а может уже и недалёких) битв.

Смотреть на читающих – вообще немалое удовольствие. Но в моем случае к созерцанию душевной работы примешивалась ещё какая-то дополнительная «перчинка», ещё какой-то неожиданный для созерцателя «бонус». Вскоре я понял, что... Мальчик сидел в наушниках.

Читал Библию. А в это время в уши билась звуковая волна.

Может, речеподобный джаз вторил там надрывным речам провидца Иоанна Богослова.

Может, наоборот, какая-нибудь народная «Травушка-муравушка» или «Калинка-малинка» врвалась в созерцательное спокойствие, разрушая своей роковой обработкой и непременными языческими мотивами мир Библии.

Может, звучал там сатаник-рэп от Димы, моего юного шестнадцатилетнего друга из Туймазов, – и призывался проиллюстрировать нестерпимую какофонию адской среды.

Чем больше я смотрел на парня, тем сильнее мне хотелось понять, что же он слушает? Что получает из мира «всовместку» с библейскими истинами?

Конечно, не составляло труда, подойти и спросить, что, мол, слушаешь? Но я не стал этого делать. У современного подростка и без того слишком мало пространства для тайны – для тайны роста, тайны внутренних метаморфоз. Он весь на виду, под взглядами веб-камер, под перекрестьем взглядов многоликой толпы, на форумах социальных сетей – как на сковородке. Нигде не укрыться!

А может, наушники – это и есть охранение его тайны? Его монастырь? Вдруг там – тишина? Великая тишина! Не сравнимая ни с какой музыкой! Тишина, которая умеет принимать и возвращать зёрна мысли. Тишина, которая одна способна даровать общение с миром высшей смысловой реальности.

Вдруг там, в наушниках, как в келье монаха-исихаста, тишина-тишина-тишина, в которой нарождается-нарождается-нарождается... общение с Ним?

Я осторожно, стараясь не шелестеть курткой, снял ладонь с поручня вагона и, затаив дыхание, отодвинулся от юного читателя.

Тишине не нужно мешать.

2012, 14 марта

Мяч в «мавзолее»

По «Берёзке» (это лагерь в Кировской области) я торопился на возбуждённые детские голоса. Дети как птицы: расшумелись – что-то произошло.

Возле недостроенного и давно законсервированного здания группа мальчишек и девочек громко и вразнобой отдавала команды кому-то внутри потемневшей кирпичной коробки.

– Смотри налево! Направо смотри! Вон за тем углом! Нет, за тем!

– Что произошло? – спросил я.

– Мяч в мавзолей попал! – сказали мне.

Долгострой, возле которого мы стояли, оказывается, и назывался «мавзолеем».

Забраться в него не так-то просто. А для мяча, сверху – пара пустяков.

«Сталкер», который искал мячик, выглянул из-за заградительных щитов:

– Он, наверное, на втором этаже. Не попадёшь!

– Как это не попадёшь? – возмутился паренёк в жёлтой футболке и полез в проём окна. Я назвал его про себя «меченый атом»: движение мальчишки в тёмном помещении хорошо наблюдалось из-за яркой футболки. Вот он стремительно пронёсся вдоль стены, исчез за косяком двери. Вот вынырнул в соседней комнате. Вот...

Ещё треть минуты – и мяч будет вызволен из «мемориального» плена!

Я стоял для подстраховки – рядом с огромным зданием, поглотившим отважного первопроходца, и думал, что современный летний отдых слишком... технологичен.

Попадая на конвейер лагерного оздоровления, ребёнок-подросток движется, как гайка у Форда, от одной сборочной операции к другой, от мероприятия к мероприятию, от одной режимной точки к следующей... Всё расписано поминутно, заранее оценено с точки зрения безопасности и эффективности для педагогических целей. Всё неоднократно опробовано.

Но иногда в лагерно-педагогической технологии случается сбой (как вот этот, с «мавзолеем») – и на воспитанника надвигается сам хаос, надвигается ситуация, где можно принять тысяча и одно решение и получить тысяча и один результат. Надвигается сама жизнь. И такие тревожно-счастливые моменты оказываются самыми впечатляющими по их влиянию на мальчишечье и девчоночье взросление.

... На шум голосов со всех сторон неслись воспитатели и технические сотрудники лагеря. Чтобы восстановить «технологичность».

Но гулкий заколоченный «мавзолей» уже не искоренить из опыта вот этих «надцатилетних», не вырвать из памяти. Про него, про вызволение мяча из его цепких объятий, про смелость и находчивость «сталкеров» будут рассказывать друзьям и родителям.

Детали этого скромного происшествия будут приходить в послелагерные сны, напрочь забив впечатления от «Малых олимпийских игр», квестов «Украл вожатого!», «Вечеров памяти».

Вот и мне, едва захотелось рассказать о прожитом дне, сразу вымолвилось: «мавзолей», мяч, «сталкер» в жёлтой футболке.

2012, 1 июля

Ааа-антоо-он??

Дождливым вечером у лагерной столовой, раздвигая локтями очередь на ужин, ко мне подошёл мальчик в красном, прочитал имя на моем бейджике и переспросил:

– Юрий Васильевич?

– Да, – ответил я.

– А я – Антон, – сказал мальчик.

Мы с ним немного поговорили и разошлись. Я – по своим делам, он – по своим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.